

# Происхождение

Меня зовут Алексей Иванович Ершов, я родился 2 октября 1941 года в селе Большой Овраг, Череповецкого района, Вологодской области. По национальности – русский. Так записано в моём паспорте и прочих моих документах. Казалось бы, всё яснее ясного, но нет – чем дольше я живу на свете, тем непонятнее выглядит вопрос о моём происхождении. Во всяком случае, для меня самого...

Началось это давно, когда я ещё учился в средней школе в своей родной деревне. То бишь в селе. Вообще-то и до того меня поддразнивали наши деревенские, мол, что это ты чернявый такой да кудрявый, у нас тут таких не водится. Но это были простодушные шутки, никаких обидных намёков в них не содержалось: во-первых, репутация Варвары Ершовой, моей мамы, была безукоризненной, а во-вторых, и намекать-то было не на кого: у нас, действительно, никаких чернявых-кудрявых поблизости не было, а дальше колхозного поля мама за всю жизнь не выезжала. Замуж она вышла девятнадцати лет, в январе 1941, за дальнего своего родственника Ивана Алексеевича Ершова. Впрочем, у нас в Большом Овраге почти все жители – родственники, и половина из них – Ершovy. В июле того же года мужа забрали в армию. В сентябре от него пришло сложенное в треугольник письмо, в котором он наставлял жену, если родится сын, назвать Алексеем. Это письмо оказалось единственным: летом 1942-го пришло официальное извещение – „пал смертью героя”...

Треугольное письмо, определившее моё имя, я прочёл самостоятельно в шесть лет. До сих пор вижу неровные строки, написанные химическим карандашом; буквы растеклись лиловыми пятнами там, где упали мамины слёзы. „Не поднимай тяжёлое, не то скинешь”. Я жил в деревне и знал, что это значит. Я знал, что поднимать тяжёлое, кроме женщин, было просто некому. Женщины делали всю работу и за себя, и за мужчин, и даже за лошадей – впрягались в плуг.

А разговоры о моём происхождении стали особенно настойчивыми, когда я пошёл в первый класс в семь лет – на год раньше своих сверстников, поскольку читать, писать и считать научился в шесть лет, – не без маминой помощи, конечно. Забегая вперёд, скажу, что все годы в школе я был всегда самым лучшим учеником, круглым отличником. Я писал диктанты без ошибок и сходу решал арифметические задачи, которые никак не давались моим соученикам.

Моё раннее умственное созревание и сравнительно высокий (по сравнению с ровесниками) интеллект не остались незамеченными. Что это он какой-то не такой, как все, этот Лёха у Варвары? Некоторые пытались дать загадке, так сказать, естественно бытовое объяснение: просто Варвара занимается с ним по вечерам, она ведь и сама училась в школе хорошо. Но когда я стал решать задачи из программы пятого класса, до которого моя мама не добралась, тут уж сторонники простого бытового объяснения оказались посрамлены. Всем стало ясно, что Лёха у Варвары действительно „какой-то не такой”.

Пытаюсь вспомнить, что побуждало меня демонстрировать одноклассникам своё интеллектуальное превосходство. Конечно, есть простой ответ на этот вопрос. Я был маленького роста, слабый физически – едва ли не самый маленький в классе: ведь год разницы в этом возрасте очень заметен! Но со временем мои способности перестали удивлять ребят и учителей, к ним привыкли, и тогда на первое место у меня вышло самое обыкновенное любопытство или, лучше сказать, любознательность. В третьем классе я прочёл все учебники до пятого класса включительно, решил все задачи и добрался до алгебры. Однажды я попросил учительницу, Лизавету Родионовну, объяснить мне, что такое алгебра. Но она сказала: „Не забегай вперёд, Ершов, время придёт – узнаешь”. С некоторым раздражением, как мне показалось. Тогда я научился решать алгебраические задачи арифметическим путём, без алгебры. Ответы сходились. Зачем же нужна эта алгебра? Ирония судьбы – мог ли я предвидеть, что со временем именно алгебра станет областью моих профессиональных интересов, и алгебраические проблемы будут темой большинства моих научных работ, включая обе диссертации!

Но вернёмся в третий класс средней больше-оврагинской школы. Как известно, дети отличников не любят – „больно умные”... Правда, меня не били, скорее всего потому, что

всем классом списывали у меня решение задач, но всяких унижений, насмешек и пакостей исподтишка я наглотался предостаточно. Но всё это было ещё полбеды, худшее началось позже, в третьем и четвёртом классе. Мне стали делать какие-то туманные намёки, насчёт того, что мама моя вовсе не мать мне, а сам я неизвестно кто и неизвестно откуда взялся... Это было очень обидно, и однажды я не выдержал и набросился с кулаками на Петьку Зипунова. Он был гораздо сильнее меня, и наверняка мне бы здорово попало, но тут неожиданно появилась Лизавета Родионовна.

– Это он, это Ершов начал! – закричали толпившиеся вокруг ребята. Лизавета крепко взяла меня за ухо (да, такие педагогические приёмы тогда практиковались, во всяком случае, в нашей школе), и отвела меня в свой кабинет. Забыл сказать, что к тому времени она стала директором школы.

– Ты ещё и драться будешь? Мало всего, ещё и драться... – сказала она, не выпуская моего уха, когда мы оказались наедине. Я понял смысл её слов: мало того, что ты всем действуешь на нервы, ещё и драку затеял...

– Он сказал про мою мать, что она... что я родился неизвестно от кого. Он хочет сказать, что моя мама...

Лизавета выпустила моё ухо, села на лавку, заменявшую директорское кресло, и неожиданно предложила мне сесть рядом. Некоторое время она молчала, переводя невидящий взгляд с книжного шкафа на портрет Сталина и обратно, и потом, словно решившись, заговорила:

– Зипунов не хотел оскорбить твою маму, он не это имел в виду, а... – Она снова помолчала, подбирая слова. – Тут в деревне вот что про тебя говорят... Не знаю, стоит ли тебе рассказывать, но ведь если ты не будешь знать, то может ещё хуже получиться. В общем, так. Когда отца твоего забрали в армию, Варвара уже была на шестом месяце, наверное. Всех мужиков забрали, работать некому, кроме как бабам... женщинам, я хочу сказать. Ну, и Варваре доставалось, конечно, даром что беременная. С этим не считались. Рожала она у себя в избе. Роды принимала бабка Бормычиха, она у нас одна повитуха на три деревни. Не в больницу же ездить... И вот говорят люди, что Варвара-то родила мёртвого. Но никому ни слова не сказала, а лежала дома, болела после родов. А дальше вот что случилось. По железной дороге в те дни шли из Ленинграда эшелоны с эвакуированными заводами, на Урал вывозили. Немцы их бомбили нещадно. А там, в поездах, не только станки были, но и люди ехали. И вот тут недалеко от переезда разбомбили состав с людьми – ужас сколько погибло. Наши деревенские ходили туда – кто посмотреть, а кто поживиться чужим добром. И было это всего через день после того, как Варвара Ершова родила. Так вот, люди говорят, что Варвара пошла туда, на переезд, и в кустах под насыпью нашла новорожденного мальчика, отнесла его домой и выдала за своего. А мёртвого потихоньку захоронила. Сколько правды в этой истории – не знаю, и никто не знает. Разве что бабка Бормычиха, но она будто бы на иконе поклялась никому не рассказывать.

Надо ли говорить, какое впечатление произвела на меня эта история. Если только всё так было, как они представляют, то получается, я вроде подкидыша, без роду, без племени, не сын своей матери и своего героя-отца, а просто приبلудный пёс, неизвестно откуда взялся. Мучило это меня невозможно. Первым моим желанием было бежать к маме и расспросить её, как всё происходило на самом деле. Но меня остановила простая мысль: мама ни за что не признается, что я чужой. Собственно говоря, для неё я чужим и не был – она кормила меня грудью, нянчила, растила, одевала-обувала, заботилась обо мне, помогала во всём. Конечно, я был её сын, и ни за что она не скажет, что не родила меня, даже если это и так.

Тогда у меня появилась идея поговорить с бабкой Бормычихой. Может, уговорю её сказать правду...

К разговору с бабкой-повитухой я готовился исподволь. Не то, чтобы я был такой уж умный мальчик – за пределами арифметики мои умения и знания были весьма ограниченными – но я вырос в деревне и знал, как принято здесь общаться с людьми. Я воспользовался тем, что наши куры часто несут яйца в самых неожиданных местах и поти-

хоньку от мамы собрал с десятков свежих яиц. Потом сложил их в лукошко, и с этим подарком в один прекрасный вечер отправился к Бормычихе.

Вопреки принятым стереотипам, бабка жила вовсе не за околицей в покосившейся избушке на курьих ножках, а в крепком доме под жестяной крышей, который построил ещё её отец в самой середине села. Встретила она меня не слишком приветливо, поначалу не хотела впускать в избу, долго препиралась через приоткрытую дверь, потом всё же впустила, милостиво приняла гостинец, и предложила сесть на скамейку.

– Ты никак Варькин будешь?

– Да, Варвары и Ивана Ершовых.

– Помню, помню. Отца твоего хорошо помню. Не так чтобы очень видный собой был, но серьёзный парень, без озорства. Варвара правильно сделала, что пошла за него. Когда мужиков наших провожали в армию, помню, бабы воют, башка лопнет, а Варька стоит, как каменная, только слёзы текут. У меня сына тогда забрали. Да. Почти никто и не вернулся...

Старуха обернулась на образа и трижды перекрестилась.

– Меня Лёхой звать, Алексеем, – попытался я начать разговор.

– Да знаю я. Это всё Варвара... Я говорю ей: назови Иваном, чтоб как муж твой, а она говорит: он письмо прислал, велел Алексеем назвать. Так деда твоего звали. Хозяйственный мужик был. А как он погиб, знаешь? Нет? А ехал с мужиками в Шексну на рынок. Стали железную дорогу переезжать, а подвода и застряла. А тут поезд утренний. Ну, мужики повскакали с подводы и в сторону, а Алексей, дед твой, стал лошадь отпрягать, спасти хотел. Вместе с лошадью и попал под поезд. Это когда же было, не припомню? Да года три до войны, так что на свадьбе сына погулять ему не довелось. – Она опять перекрестилась на образа.

Я почувствовал, что если не прервать этот поток воспоминаний, мой визит окажется безрезультатным, а десяток яиц потерянным.

– Я, бабушка, вот чего хочу спросить... – начал я, но она тут же меня прервала:

– Да знаю я, зачем ты пожаловал. Тут ко мне уже приходили, спрашивали про тебя.

– Кто спрашивал?

– Ну вот, кто приходил да что спрашивал? Эдак я всю деревню перессорю. Известно, про что они любопытствуют: правда ли что Варвара Ершова подобрала его у насыпи? Тебя, значит.

У меня перехватило дыхание:

– И что – правда?

– Враньё всё это, болтают, кому делать нечего. А я сама, своими руками приняла тебя у Варвары, сама запеленала. Маленький родился, но крикливый. Да и отец твой был небольшого роста. А мужик хороший, смолоду серьёзный. Ты в него пошёл, не сумлевайся!

Разговор с Бормычихой успокоил меня – на некоторое время, по крайней мере, но никак не исправил моего положения среди соучеников: ведь не будешь каждому объяснять: „А бабка сказала, что всё это враньё”. И потом – они бы нашли десятки доводов, чтоб не верить Бормычихе. Люди вообще верят не столько фактам, сколько тому, во что им хочется верить, – с этим я сталкивался много раз на протяжении жизни. А им хотелось верить в то, что я от рождения „не такой, как все”, и вообще не деревенский, а может быть, даже и не русский.

Маме стало известно о моём визите к бабке Бормычихе. Скорей всего, сама бабка рассказала. Однажды вечером, когда мы ужинали по обыкновению вдвоём, она завела разговор:

– Я знаю, что они тебя в школе дразнят... Не верь им, неправда всё это. Не ходила я на переезд чужое добро подбирать, у меня осложнения после родов начались, я лежала, выйти в сени не могла, не то, что пять вёрст до переезда... Я тебя родила вот на этой самой кровати. – Она показала на старую деревянную кровать, покрытую лоскутным одеялом. – Им досадно, что ты умней их, вот они и болтают. Отец твой был очень умный человек, образования только не хватало, а так... Ну, а тебя я в институт пошлю. Хоть вывернусь наизнанку, а образование тебе дам. Будешь учителем или агрономом.

В конце концов, мамино желание осуществилось. Правда, агрономом я не стал, но университет закончил, а потом аспирантуру, а потом защитил две диссертации – кандидатскую и докторскую, а потом получил звание профессора, а потом был избран членом-корреспондентом... и так далее. Однако всего этого не случилось бы, если бы не одно обстоятельство, рассказать о котором я просто обязан. Собственно говоря, не обстоятельство, а человек, который появился в наших краях случайно, и это было для меня действительно невероятным везением, без этого счастливого случая вся моя жизнь пошла бы другим руслом.

Лазарь Борисович Лунц звали этого человека. Он имел научную степень кандидата физико-математических наук и звание доцента. Как и почему он появился в глухой вологодской деревне в качестве преподавателя математики, я, разумеется, тогда не понимал и даже вопросом этим не задавался. Понял это много позже, когда ретроспективно знакомился с антиеврейской кампанией в советской науке в поздне-сталинский период.

Я учился в пятом классе, а Лазарь Борисович преподавал в старших классах, так что на уроках мы не встречались. Но директриса Лизавета Родионовна рассказала ему про странного мальчика, который решает задачи для восьмиклассников, не зная алгебры. Лунц захотел со мной познакомиться, и после первой нашей встречи спросил, могу ли я по вечерам приходить раза три в неделю для занятий математикой. Со мной одним, с глазу на глаз.

На этих занятиях я узнал, наконец, что такое алгебра, и это было только начало. Каким-то образом он сумел растолковать мне, мальчику-подростку, основные понятия интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории вероятностей. Он говорил со мной об основаниях математики, о неевклидовой геометрии, о великих математиках прошлого... И всё это я вбирал в себя с жадностью и восторгом. А сам он был если не великим математиком, то, несомненно, великим педагогом. Через три года регулярных занятий я стал победителем областной математической олимпиады, а ещё через год – призёром республиканской.

Внешний облик Лазаря Борисовича никак не соответствовал расхожим представлениям об учёном интеллигенте. Ростом он был выше среднего, крепкий в плечах, с густой копной тёмных волос. Летом совершал долгие пешие прогулки (я иногда сопровождал его), зимой бегал на лыжах, – чего-чего, а уж снега в наших краях хватает. Очков не носил. Слабое зрение как раз оказалось у меня, и мама должна была отвезти меня в Череповецкую больницу, где мне выписали очки. Это вызвало сенсацию среди учеников нашей школы: они до того никогда не видели мальчика в очках. Теперь у них появилось „законное основание” не любить меня: вот уж точно не такой, как все – очкарик, прямо как городской...

Лазарь Борисович провёл у нас четыре года, после чего вернулся в Ленинград. „Обо мне вспомнили”, – сказал он перед отъездом. Но с его отъездом наши контакты не прекратились: он продолжал следить за моим математическим образованием, присылая мне книги, статьи из журналов и составленные им специально для меня задачи. А когда пришло время, он немало содействовал моему поступлению на математическое отделение университета.

Знакомство с ним было решающим моментом в формировании моей личности – я говорю сейчас не только о профессии математика, а о всех сторонах человеческого сознания, интеллекта и даже характера. Что особенно важно – он научил меня правильно говорить, „по-городскому”, без этого нашего череповецкого „цеканья” и словечек вроде „стойно”. Деревенский парень, за всю жизнь побывавший в городе один раз – в Вологде на областной олимпиаде – я сумел выжить, не потеряться в университете среди всех этих талантов – мнимых и настоящих – среди петербургских снобов и пижонов. Конечно, только благодаря ему, незабвенному Лазарю Борисовичу.

Если уж говорить о моём характере, то надо признать, что некоторая зажатость и мужицкая угрюмость остались у меня навсегда. Из-за этого, наверно, я плохо схожусь с людьми. За все пять лет учёбы в университете я сблизился всего с двумя студентами, которых мог назвать близкими друзьями: с Олегом Колосковым с биологического факультета и с Женей Озёрским, математиком с нашего курса. С Олегом я подружился на трени-

ровках – мы оба занимались бегом на длинные дистанции, а с Женей нас сблизил общие математические интересы: сначала это была теория Галуа, затем мы пытались найти новый подход к его задаче по теории дифференцируемых многообразий. Вообще говоря, мы были увлечены личностью молодого гения, нашего сверстника, чьи труды стали важнейшей частью современной абстрактной алгебры, а смысл этих трудов учёные поняли через много лет после его смерти. Истории непризнанных гениев, любил говорить Женя, импонируют людям потому, что дают возможность истолковать свои невезения как провал не оценённой гениальности.

Он часто говорил о людях в ироническом ключе. Обычно считают, что людей сближает сходство характеров, но точно так же сближает и несходство – противоположности сходятся. Мы с Женей являли тому яркий пример. Трудно представить себе две более полярные личности: угрюмый деревенский паренёк и блестящий петербургский юноша, выросший в состоятельной интеллигентной семье среди книг и картин, владеющий французским, играющий на фортепьяно и так далее и так далее. Но когда дело доходило до математики, тут мы были равны, тут я несколько не уступал ему. А математика в нашей жизни занимала главное место.

Довольно часто я бывал у него дома. Родители относились ко мне с неизменным радушием. Впрочем, видел я их редко, они были занятые люди: папа, Яков Моисеевич, возглавлял кафедру в медицинском институте, а мама, Мирра Абрамовна, была известным в городе адвокатом. Помню, как однажды в воскресенье в первый раз оказался у них на обеде. Чувствовал я себя поначалу неловко – не знал, зачем три вилки, какой стакан мой, что делать с салфеткой, но никто, казалось, не замечал моего смущения. Общий разговор шёл о знаменитых математиках прошлого, и я удивлялся, как эти люди много знают о Галуа – ведь они по профессии не математики! И уж вовсе я был поражён, когда Яков Моисеевич рассказал, что в детстве он видел самого Владимира Андреевича Стеклова, который лечился у отца Якова Моисеевича, известного петербургского врача. Математик подружился со своим доктором настолько, что бывал у него дома на обеде. „За столом обычно сидел вот тут, справа, где сейчас Алексей сидит”.

Значит, я сижу на том месте, где сиживал великий русский математик Стеклов? Ничего себе!..

Я знал, что Озёрские живут в той же квартире, где жили до революции родители Якова Моисеевича, – большая квартира на Литейном была оставлена им за особые заслуги перед властью рабочих и крестьян: старший Озёрский лечил большевистских вождей от урологических заболеваний. Ну, отняли только две спальни – там поселили семью вагеновожатога. Во время войны квартира не пострадала от немецких бомб и снарядов, но была разграблена соседями. (Озёрские три года прожили в эвакуации на Урале).

Всякие семейные истории Озёрских я узнавал от родителей – сам Женя ничего такого не рассказывал. Должно быть, опасался таким путём меня унижить. Действительно, что я мог рассказать о своём деде? Что он погиб под поездом, распрягая лошадь? Говорили мы, в основном, о математике. На третьем курсе мы увлеклись алгебраической геометрией и получили (не считайте за хвастовство) хороший результат, который похвалил сам академик Каталов. И вот после этого и произошло то, о чём я сейчас расскажу. Я должен рассказать, как бы тяжело ни было, потому что это центральное событие моей истории. Да и всей моей жизни...

К пятому курсу наше будущее (во всяком случае, ближайшее будущее) вырисовывалось довольно отчётливо. Мы уже имели по две научные публикации (одну совместную и по одной индивидуальной), доклады в студенческом научном обществе, отличные и хорошие оценки по всем предметам и даже спортивные достижения: у меня рекорд факультета по бегу на пять тысяч метров, а у Жени – второе место в университете по настольному теннису. В общем, мы шли в аспирантуру, и преподаватели это поощряли. А когда объявили результаты, мы узнали, что меня взяли, а Женю нет...

Как? Почему? В академическом отношении мы совершенно равны! Чем они там могли руководствоваться?

– Чем? Ты не знаешь чем? Ты в самом деле так наивен? – сказал Женя. Он был сильно возбуждён, но не подавлен, скорее наоборот – как-то странно вызывающе весел. „Ты в самом деле так наивен?“

Это были последние слова, которые я услышал из его уст...

Не буду описывать похороны, бурную реакцию студентов, отчаяние Жениных родителей. Мирра Абрамовна ещё кое-как держалась, а Яков Моисеевич совсем развалился: он не мог стоять на ногах, на похоронах мы поддерживали его с двух сторон. Наверное, его ещё мучила мысль, что он хранил дома эту адскую смесь, которую выпил Женя...

Вскоре после похорон я подал заявление на имя ректора университета, в котором отказывался от места в аспирантуре в знак протеста против „возмутительного, безосновательного, ничем не оправданного отказа студенту Е. Озёрскому в приёме в аспирантуру“. Я обвинял администрацию в гибели своего друга и требовал объективного расследования.

Содержание моего заявления стало широко известно в университете и вызвало поддержку среди студентов: многие были недовольны порядком приёма в аспирантуру: делалось это, как считали студенты, келейно, без серьёзной мотивировки, без всестороннего рассмотрения кандидатур. На некоторое время я стал, так сказать, героем студенческой массы. Тогда и началось давление со всех сторон, чтобы я отказался от своего заявления. Ну, разговор в деканате или в комсомольском комитете был предсказуем: что я подрываю установленный порядок, будоражу студентов, сею смуту, а между тем решения об аспирантуре принимаются администрацией по согласованию с парторганизацией! „Понимаешь, на что ты замахиваешься?“ Я упрямо повторял, что от заявления своего не отказываюсь и требую расследования.

Но две беседы сильно отклонились от этого стандарта, о них стоит рассказать. В один прекрасный день, в самый разгар моей битвы с администрацией, меня вызвали к декану и сказали, чтобы завтра в восемь утра я явился в ректорат на встречу с проректором университета, заведующим математическим отделением академиком Каталовым. Это было совершенное чудо: никто из студентов никогда даже не видел академика Каталова на близком расстоянии, а тут вдруг личная аудиенция...

Академик выглядел не просто солидно, а можно сказать, величественно. Принял меня с глазу на глаз, очень любезно. Усадил в кресло. Начал с неожиданного вопроса:

– Алексей Иванович, вы родились в селе Большой Овраг?

Первый раз в жизни меня называли по отчеству.

– Да, Большой Овраг, Череповецкого района, Вологодской области.

– Ваш отец, колхозник, погиб на войне?

Мне хотелось спросить, какое это имеет отношение к моему заявлению и порядку приёма в аспирантуру?

– А вы знаете, что со времён Ломоносова у нас не было математиков из крестьян? Великие математики на Руси всегда были, но все они вышли из образованных слоёв: Чебышёв Пафнутий Львович – из поместных дворян, у Лобачевского отец был чиновник, у Александра Михайловича Ляпунова – известный учёный-астроном, Стеклов Владимир Андреевич – из духовенства, у Андрея Андреевича Маркова отец служил по лесному ведомству. Ну, и так далее. А вот вы, Алексей Иванович Ершов, потомок многих поколений русских крестьян... Я знаю ваши работы – большие надежды подаёте. С вашими способностями многого в науке можно добиться. Если с пути не сойдёте, конечно... Мы талантливый народ, но сбить нас с толку... не то чтобы легко, но вот многим удаётся.

Я почувствовал, что разговор заворачивает куда-то не в ту сторону:

– Собственно говоря, я хочу обратить внимание ректората, что приём в аспирантуру у нас производится бессистемно, без чётких критериев...

Он поморщился и замахал рукой:

– Знаю, знаю, наслышан об этой истории. Но кого здесь винить? Просто нервный, неуравновешенный человек. Если все будут так реагировать на жизненные неудачи... А это было, возможно, просто недоразумение, бюрократическая ошибка. Со временем, глядишь, и пересмотрели бы...

– Врёт он, мерзавец двуличный! – сказала Мирра Абрамовна, когда я передал ей во всех деталях разговор с Каталовым. – Он сам распорядился не принимать Женю, а теперь – „бюрократическая ошибка“. Откуда я знаю? Всем известно, что он писал письма в ЦК и в Президиум Академии наук с жалобой, что затирают в математике русские национальные кадры, что русским талантам хода нет из-за всяких инородцев. А что за инородцы в математике? Знаем, кто. Также известно, что он лично следил за тем, кто поступает в аспирантуру. Женя не зря опасался его...

Мы сидели вдвоём в её кабинете. Накануне она дозвонилась до моего общежития и передала через коменданта, чтобы я пришёл для важного разговора.

– В разговоре хотел принять участие Яков Моисеевич, но он в таком состоянии... Всю ночь не спал, под утро принял снотворное... Так что считайте, что я говорю за нас обоих. – Она помолчала, собираясь с мыслями. – В общем, до нас дошло, что вы отказались от аспирантуры. Это правда? Мы так и думали. Что вам сказать по этому поводу? Благородный поступок, акт истинной дружбы и гражданского мужества. Такое сейчас не часто встретишь. И при всём нашем восхищении, мы просим вас отказаться от вашего решения. Жене ваш поступок не поможет, справедливости в университете не наведёт, а вам научную карьеру испортит, поверьте мне. Они вам этого не забудут. У вас большой талант, это все говорят. Женя перед вами преклонялся. Вам все дороги открыты: вы защитите диссертации, напишете серьёзные работы, станете академиком... И когда-нибудь упомянете, что вот такую-то работу начинали вместе с Евгением Озёрским, который ушёл из жизни, не успев ничего завершить... Кто это сделает, если не вы?

Она резко поднялась с кресла, подошла к окну и повернулась ко мне спиной. Её плечи дрожали...

Диссертацию я защитил успешно, и был оставлен на кафедре в должности старшего преподавателя. На моей защите появился сам академик Каталов, который на кандидатские защиты, как правило, не ходит. В предисловии к автореферату я отметил, что работу над темой диссертации начинал вместе с Евгением Озёрским. Оба моих официальных оппонента требовали исключить эти слова, но я настаивал, грозился сорвать защиту. Дело дошло до скандала, и тогда меня неожиданно поддержал Каталов. Оппоненты, естественно, сразу поджали хвост, и Женино имя осталось в моём автореферате, прозвучало на защите, и потом неизменно фигурировало во всех публикациях на эту тему.

Почему академик заступился за меня и, таким образом, за Женю – остаётся загадкой по сей день. Много вечеров провели мы с Жениными родителями, обсуждая этот случай со всех сторон, гадая так и сяк: может быть, он не хотел, чтобы на кафедре появился ещё один „незащищённый“ аспирант? Это плохо для кафедры. Или опасался, что в результате скандала история Жениного самоубийства опять возбудит студентов? А может быть, пытался затушевать свою роль в той истории: он-де здесь ни при чём, он ничего не имеет против этого Озёрского...

Прошло ещё несколько лет. По ходатайству университета я получил квартирку – маленькую, однокомнатную, но в хорошем районе, в новостройке. Вскоре после этого женился на Тане Колосковой, младшей сестре моего друга Олега.

Каждое лето мы ездили вместе с женой в Большой Овраг – проведать маму и посмотреть на родные места. Прямо скажу, радости эти визиты не доставляли: мама болела и слабела от года к году, но переехать к нам в Ленинград категорически отказывалась, а жизнь в деревне, и без того убогая, с хрущёвскими реформами и вовсе превратилась в какой-то идиотизм. Больно было видеть, как мама угасает, даже не стареет, а именно угасает, и всё же я был потрясён, получив однажды утром телеграмму: „Мама скончалась, завтра похороны. Ершова“. Долго не мог понять, кто такая Ершова, потом сообразил, что это должно быть Лизавета Родионовна, директор школы. Теперь уже на пенсии, очень старая.

Я кинулся звонить в железнодорожную справочную, узнал, что ближайший поезд на Вологду отправится завтра утром. А там ведь ещё от станции добираться и добираться...

– Давай позвоним Олегу, – сказала Таня, – он ведь у нас на машине...

Олег рассовал все свои дела, отменил все совещания-заседания, и в середине дня мы втроём выехали. Было это в сентябре, осенью, дороги кошмарные, но всё же вечером, часам к восьми, мы добрались.

Тело лежало на столе, рядом горела свеча, и в её колеблющемся свете наша старая изба казалась мрачнее обычного. Я не сразу заметил в изголовье согбенную фигуру человека в чёрном. Он встал и поздоровался с нами – я разглядел священника в облачении. Он деликатно отошёл в сторону, оставив меня наедине с мамой. С тем, что недавно было моей мамой...

Что за жизнь она прожила, моя мама? Тяжкий не женский труд и скудность во всём. С девятнадцати лет вдова. Единственная радость – сын, но и тот какой-то странный, не как у всех. И всю жизнь за спиной шепоток: „Сын-то не её, своего невесть где зарыла”... Ещё была у неё мечта – внуков увидеть. Бывало скажет Тане несмело: „Когда ж я внуков дождусь?”, а Таня: „Вот защищу диссертацию, Варвара Ивановна, тогда... Обещаю”.

Я долго сидел, всматриваясь в её лицо, такое родное, но с проступающими незнакомыми чертами – печатью смерти. Время незаметно двигалось, сверчок за печкой издавал редкие рулады, Таня и Олег шептались в дальнем углу. Кто-то дотронулся до моего плеча, я обернулся. Передо мной стоял священник, о присутствии которого я забыл.

– Извините, что нарушаю ваши мысли, Алексей Иванович – сказал он, – но мне нужно скоро ехать. Служба завтра утром, а церковь моя в Череповце... У меня тут подвода... Мне поговорить с вами необходимо.

Речь у него была культурная, городская. Наверное, учился в Ленинграде или Москве.

Мы сели на лавку, в стороне от стола. Он вздохнул и заговорил:

– Прежде всего, прошу прощения, что не могу остаться на похороны. Занят беспросветно. Еле выбрался сюда, ваша матушка очень просила.

– Она причащалась? – у меня под сердцем что-то сжалось и напряглось.

– Да... но разговор сейчас не о ней, а о её подруге – Прасковье Афанасьевне,

– О ком? Никогда не слышал.

– Ну, старушка такая жила у вас тут, повитуха на три деревни. Лет десять назад преставилась.

– Бормычиха, вы имеете в виду.

– Да. Прасковья Афанасьевна. – Он явно не хотел употреблять уличную кличку вместо христианского имени. – Так вот, она перед смертью имела со мной разговор. То есть причащалась тоже, но это другое дело, это не часть её исповеди, если понимаете, о чём говорю. Это отдельная её просьба к вам. Она просит у вас прощения, что однажды вас обманула, неправду сказала. Но она клятву дала на иконе Николая Угодника – никому никогда не рассказывать правду про это. Так вот перед смертью у неё большие сомнения появились: а правильно ли она делает, что обманывает вас. Пришла с этим ко мне в церковь. Мы долго с ней судили и решили... я сказал ей, что обманывать, тем более в таком деле – плохо. А клятва на иконе? – она спрашивает. Что ж, клятва? Давать клятву на плохое дело – тоже грех. Так мы с ней рассудили. И она попросила меня рассказать вам тайну.

Я уже давно понял, о чём идёт речь, но мне хотелось знать, как это случилось.

– История же такова. Осенью сорок первого года, война только недавно началась, Прасковья Афанасьевна – благословенна память её – принимала роды у Варвары Ершовой, вашей матушки. И родилась мёртвая девочка.

– Девочка?

– Да, мёртвая девочка, избави нас и помилуй. – Он перекрестился. – А на другой день после родов слух прошёл, что на переезде разбомбили поезд с эвакуированными из Ленинграда, ну и вся деревня кинулась туда. Кто зачем, да... Кроме вашей матушки, конечно: она лежала больная, в горе, рядом с мёртвым ребёнком. А Прасковья пошла. Картина страшная: трупы, части человеческого тела... Ужас! И слышит под насыпью... плач – не плач, писк – не писк... Спустилась вниз, взглянула – а там женщина лежит с разбитой головой и в мёртвых руках сжимает младенца, мальчика не старше месяца. Чуть живой, уже и плакать не может. Прасковья тут же схватила какую-то тряпку, завернула младенца и бегом в деревню к Варваре. Та как увидела, говорит: это мне Бог послал в утешение за



моё горе. У неё ещё молоко не перегорело. И взяла с Прасковьи клятву на иконе. А девочку закопали ночью в лесу без всякого обряда – она ведь не была крещёна. Такова история вашего происхождения.

Он помолчал, повздыхал и стал собираться в дорогу. Я спросил:

– Батюшка, неужели мать перед смертью не рассказала вам об этом?

Он напрягся, лицо его стало непроницаемым:

– Не могу, Алексей Иванович – тайна исповеди...

Наутро состоялись похороны. Пока я был на похоронах, Таня и Олег съездили в магазин, привезли водки (много) и кое-какой закуски. Кое-что я нашёл у мамы в погребе. В общем, поминки прошли по всем правилам деревенского этикета – кстати, весьма сложного. Поминали Варвару добрым словом, некоторые даже помнили Ивана, её мужа, которого я всегда считал своим отцом. Я всё приглядывался к своим односельчанам и задавался вопросом: знают или нет? Ведь слухи ходили давно, я ещё мальчиком был. Относились они ко мне за столом почтительно, но совсем не так, как к своим. Впрочем, я уже давно не был для них своим: ведь я большую часть жизни прожил в городе. Уходили поздно, все пьяные – и мужчины, и женщины. Церемонно благодарили за угощение. А Пётр Зипунов обнял и трижды поцеловал – не поминай, мол, старого...

На следующее утро мы трое отбыли домой.

Олег вёл машину, Таня сидела рядом с ним, а я на заднем сиденье мучился своими думами. Кто же всё-таки я такой? Мало ли кто мог ехать в эвакуацию из Ленинграда... Мои биологические родители могли быть простыми рабочими, могли быть и инженерами. Они могли быть людьми нерусской национальности – недаром меня несколько раз евреи принимали за своего, а в отделе кадров не хотели верить, что я родом из вологодской деревни. Ну что ж, думал я, еврей так еврей, я ничего не имею против них. Даже наоборот – всю жизнь благодарен Лазарю Борисовичу Лунцу за всё, что он сделал для меня. Когда он умер, плакал, как по родному отцу. Или Женя Озёрский... да что тут говорить? Мне всегда противны тупоголовые идиоты, поносящие евреев. Пусть и не тупоголовые, пусть академики – всё равно ненависть к евреям застит ум, превращает их в дураков. До сих пор, пока я был русским, антисемитизм просто шокировал меня умственным убожеством, а если я еврей? Это уже прямо против меня...

Третью дорогу я молча думал. В Бабаево, помню, мы остановились перекусить. И тут меня прорвало...

Мы сидели в какой-то придорожной чайной за столом, покрытым синей клеёнкой. Я вдруг почувствовал сильнейшее желание рассказать свою историю, которую всю жизнь носил в себе, прятал от людей. Кому же рассказать, как не жене и ближайшему другу? И я рассказал – всё-всё: и про школу, и про драку с Петькой Зипуновым, и про Лизавету Родионовну, и про Бормычиху, и про разговор с мамой, и про вчерашний рассказ священника... И про свои мучительные сомнения.

Таня потрясённая молчала. Но Олег вёл себя так, будто в моей истории не было ничего поразительного. Его рассуждения были сугубо рациональными, даже деловыми:

– История интересная, – сказал он, немного подумав, – но в практическом отношении особого значения не имеет. Официально кем ты был, тем и остаёшься. Никто не станет менять твои документы на основании рассказа повитухи, которая умерла десять лет назад. Так что ты – Алексей Ершов, сын Ивана Ершова из деревни Большой Овраг. Естественно, русский – ведь оба твои родители русские. Теперь скажу тебе то, что давно заметил: да, ты удивительно похож на еврея, говорю как антрополог: скошенный лоб, большой, с изломом нос, пухлые губы, тёмные глаза и волнистые волосы. Почти что карикатура из „Штюрмера“ (антисемитский журнал времён нацистской Германии – ред.), а уж они-то знали в этом толк... Очень может быть, что та убитая женщина под насыпью была еврейкой. Ну и что? Кто-то будет тебя принимать за еврея – тебя это колыхнет? Да что далеко за примером ходить? – Он бросил короткий взгляд на сестру. – Когда Танька надумала за тебя замуж, наш папаша-генерал закричал: а ты понимаешь, что он еврей? Я говорю: папа, я у него в родной избе был, маму его видел... А он: знаем-знаем, они кого хочешь проведут...

Они оба засмеялись – брат и сестра. Нет, они не в силах понять, что человек не может быть ни тем, ни другим, это разрушает его идентификацию. Существуют, конечно, полукровки, но это тоже особая идентификация. Если уж на то пошло, я совсем не возражаю быть евреем, ведь тогда у меня есть принадлежность, есть внутренняя позиция. Я могу сказать: „Мы, евреи, то-то и то-то...” А сейчас я никто: неизвестно кто отец, кто мать, русский я или еврей... Это совсем другое, и это больно... Нет, вопрос о моём происхождении далеко не закрыт, для меня он полон значения.

Прошло ещё несколько лет. Таня защитила искусствоведческую диссертацию о портретах Боровиковского, после чего, выполняя обещание перед моей мамой, родила подряд сына и дочку. Только мама их не дождалась... Сейчас они уже взрослые, поступают в институт. Я очень надеялся, что у Лазаря проявится интерес к математике – напрасно, кроме хоккея ему ничто не интересно. Правда, в хоккей он играет хорошо. А вот Варенька как раз обнаруживает склонность к точным наукам.

Моя научная карьера развивается неплохо, грех жаловаться. Ещё при советской власти меня избрали членом-корреспондентом. Мои работы известны за границей, меня приглашают в разные страны... ну и так далее... Несколько лет назад читал курс лекций в Израиле, повидал там Якова Моисеевича и Мирру Абрамовну. Они уехали из России одними из первых, как только началась еврейская эмиграция – в 1973 году, если память не изменяет. Я их провожал в аэропорту. Когда мы встретились в Израиле, они были уже очень старыми, я навещал их в доме для престарелых. Почти всё время они говорили о Жене, о его трагической смерти, которая (вспомним) случилась к тому времени тридцать лет назад. Но для них – это событие, которое произошло только что, и сердечная рана совсем свежая... С этой раной они и умерли – оба в течение одного месяца.

А теперь возвращаюсь к теме рассказа – о моём происхождении. Нет, никаких новых фактов я не обнаружил, да и откуда им взяться? Все умерли, кто хоть что-то знал. Но вот однажды у нас дома (мы уже жили в трёхкомнатной квартире на Мойке) появляется Олег и заводит такой разговор. Вы, говорит он нам с Таней, что-нибудь слышали о ДНК-генеалогии? Это наука, которая даёт ответы о происхождении и истории этнических групп, она может рассказать о предках любого человека – кем они были с точки зрения родовой. Короче говоря, сегодня можно научно обоснованно сказать, какого рода-племени данный индивид.

– Понимаешь, к чему я клоню? – спрашивает он меня. – Есть реальная возможность раскрыть тайну твоего происхождения. Если твои предки были евреями, то скорее всего твой гаплотип окажется в группе J1, или другой характерной именно для евреев группе. Если же славянами – в подгруппе R1a или I. Правда, там у вас, на севере, сильная примесь угро-финнов, в этом случае есть шанс оказаться в подгруппе N. Во всяком случае, узнать еврей ли ты, можно с большой степенью вероятности. Я имею отношение к проекту обследования русского генофонда. Приходи в любой день ко мне в лабораторию, мы это протолкнём. Только позвони накануне. Понял?

Я не знал, что такое „гаплотип”, но главное я понял: есть возможность решить преследовавшую меня всю жизнь загадку. Мне всегда казалось, что появившись такая возможность, я всё сделаю, чтобы её реализовать. А тут вдруг начал раздумывать, и даже как-то сомневаться... Надо подумать, говорил я себе. Допустим, анализ покажет окончательно и бесповоротно, что я еврей. Что дальше? Я перееду в Израиль? Со своей русской женой и детьми? Вряд ли. Просто буду знать, что принадлежу к народу, к которому принадлежали близкие мне люди – Лунц, Женя, его родители, к которому принадлежат многие выдающиеся математики сегодняшнего дня – мои коллеги здесь и за границей. И что? Этот факт, что я еврей, изменит их отношение ко мне? Не думаю, они всегда относились ко мне корректно, как к хорошему профессионалу. Так будет и впредь.

И тут же другая мысль: а „русские патриоты”, которые так влиятельны в нашей науке? Они вряд ли мне простят „предательство”. Столько лет они восторгались мною, поддерживали меня, преувеличенно хвалили – по преимуществу за то, что я русский и деревенский. Первый мужицкий сын со времён Ломоносова! „Собственный Невтон”! Честное слово, мне никогда эта роль не нравилась. Однако я принимал их похвалы и их награды, это факт, надо честно признать. Хотя прекрасно понимал, что за этим стоит.

Тот же Каталов в своей статье в какой-то „патриотической” газете объяснял, что успехи „еврейских математиков” (один этот термин чего стоит – это кто такие специалисты по „еврейской математике”?) раздуты и преувеличены. Всё дело в том, что евреи, как южный народ, быстрее созревают, быстрее входят в науку и быстрее захватывают места. Кроме того, их жизненный уровень выше, чем у „коренных народов”, и они могут себе позволить нанимать репетиторов. Всё это очень скоро иссякает, поскольку подлинного таланта нет... И не стесняясь, называл имена отечественных математиков-евреев, учёных с мировыми именами.

С другой стороны, писал „патриот”, посмотрите на подлинный талант, который способен пробиться с самого низа, без всякой поддержки, без репетиторов, без всяких средств. Это значит я... Так что плюнуть на них, объявить себя евреем, рассказать про Лунца, без помощи которого я бы не стал математиком, было очень соблазнительно.

Два дня и две ночи думал я над этой проблемой, а на третий позвонил Олегу в лабораторию.

- Когда придёшь? – спросил он сразу.
- Знаешь, я не приду.
- Вообще?
- Да, вообще. Я раздумал. Пусть всё остаётся, как есть. Иначе мне придется делать выбор, а хорошего выбора в этой ситуации нет.

И я повесил трубку.

**Владимир МАТЛИН.**

Автор благодарит профессора Б. Кушнера и профессора А. Клёсова, консультировавших его по научным вопросам во время работы над этим рассказом.